

## Злоба дня

### СУБЪЕКТИВНЫЕ ФИГУРЫ КРИЗИСА<sup>1</sup>

*Майкл Хардт,  
Антонио Негри*

Триумф неолиберализма и его кризис изменили условия экономической и политической жизни, но вместе с тем они запустили социальное, антропологическое преобразование, произведя новые фигуры субъективности. Гегемония финансов и банки породили *задолжавшего*. Контроль над информацией и сетями коммуникации породил *медиазависимого*. Режим безопасности и широко укоренившееся чрезвычайное положение сконструировали фигуру, терзаемую страхом и жаждой защиты, — *поднадзорного*. А разложение демократии выковало странную, деполитизированную фигуру — *представляемого*. Эти субъективные фигуры породили социальное поле, на котором — и против которого — приходится действовать движениям бунта и сопротивления. В дальнейшем мы увидим, что эти движения обладают способностью не только отвергать эти субъективности, но и переворачивать их и создавать фигуры, способные выразить их независимость и их готовность к политическому действию. Но сначала нам надо исследовать природу этих субъективных фигур неолиберального кризиса.

#### *Задолжавший*

Иметь долги становится сегодня повсеместным условием жизни в обществе. Жить, не влезая в долги, почти невозможно — кредит на обучение, ипотека, машина в кредит, услуги врача и т. д. Система социальной защиты перешла от обеспечения всеобщего *благополучия* к обеспечению всеобщего *состояния задолженности*, поскольку займы становятся основным средством обеспечения социальных нужд. Долг — это основание, на котором выстраивается ваша субъективность. Вы выживаете тем, что набираете долги, и живете под грузом ответственности за них.

Долг контролирует вас. Он муштрует ваше потребление, прививая вам аскетизм и зачастую оставляя вам лишь стратегии выживания, но помимо этого он ещё и диктует, в каком ритме вам работать и какой выбор совершать. Если вы оканчиваете университет должником, то, чтобы выплатить долг, должны согласиться на первую же оплачиваемую должность, какую вам предложат. Если вы купили жильё в ипотеку, то должны пообещать себе, что не потеряете работу, не поедете отдыхать и не возьмёте учебный отпуск. Смысл долга, как и рабо-

<sup>1</sup> Перевод выполнен по изданию: *Hardt M., Negri A. Declaration. New York: Argo Navis, 2012 [Chapter 1].* Печатается с любезного разрешения авторов. На русском языке впервые опубликовано: Синий диван. Философско-теоретический журнал. Под ред. Е. Петровской. Вып. 19. — М., Три квадрата. — С. 85–104.

чей этики, в том, чтобы не давать вам ни отдыха ни сроку. Если рабочая этика рождается внутри субъекта, то долг возникает как внешнее принуждение, но вскоре прокладывает себе путь вовнутрь. Долг обладает моральной властью; эта власть держится на штыках ответственности и вины, которые быстро могут стать навязчивой идеей. Вы ответственны за свои долги и повинны в тех трудностях, которые они создают в вашей жизни. Задолжавший — это несчастное сознание, делающее вину формой жизни. Для тех, у кого нет средств на то, чтобы получать удовольствие от жизни, радость деятельности и созидания мало-помалу превращается в кошмар. Жизнь продана врагу.

Гегелевская диалектика раба и господина возвращается здесь в недиалектической форме, потому что долг не есть ни отрицание, могущее вас обогатить, если вы восстанете, ни подчинение, стимулирующее производственную деятельность, ни импульс к освобождению, ни попытка перейти к свободной деятельности. Долг может лишь усугубить обеднение вашей жизни и депотенциализацию вашей субъективности. Он лишь унижает, изолируя вас в нищете и с ощущением вины. Тем самым долг кладёт конец всем иллюзиям, окружающим диалектику — например, что порабощённый труд несчастного сознания мог бы привести к свободе или утвердить собственную власть, высвободив силы, которых до этого он был лишён, или, точнее, что выражение труда могло бы разрешиться в высшем синтезе, а решительное отрицание могло бы возвыситься до освобождения. Фигуру задолжавшего нельзя спасти; её можно только уничтожить.

Когда-то существовала масса наёмных работников; сегодня существует множество подверженных риску работников. Первые эксплуатировались капиталом, но та эксплуатация была замаскирована мифом о свободном и равном обмене между собственниками товаров. Последние продолжают эксплуатироваться, но главенствующий образ их отношения к капиталу выстраивается уже не как равные отношения обмена, но скорее как иерархичное отношение должника к кредитору. Согласно меркантилистскому мифу о капиталистическом производстве, собственник капитала встречает собственника рабочей силы в рыночном пространстве, и они совершают справедливый и свободный обмен: я даю вам мой труд, а вы мне — заработную плату. Это был, иронически пишет Карл Маркс, эдем, где господствуют только «свобода, равенство, собственность и Бентам». Нет нужды напоминать вам, сколь фальшивы и подложны эти предполагаемые свобода и равенство на самом деле.

Но капиталистические трудовые отношения изменились. Центр тяжести капиталистического производства перекочевал за пределы фабричных стен. Общество стало фабрикой или, вернее, капиталистическое производство распространилось таким образом, что рабочая сила целого общества так или иначе оказывается под контролем капитала. Целый ряд наших производительных способностей все больше эксплуатируется капиталом — наши тела и наши умы, наша способность к общению, наш интеллект и способность к творчеству, наши аффективные отношения друг с другом и прочее. Жизнь как таковая поставлена к станку.

С этой переменной изменяется и основное взаимоотношение между капиталистом и рабочим. Капиталист, надзирающий за заводом, направляющий и муштрующий рабочего в целях получения прибыли, — не такова ныне типичная сцена эксплуатации. Сегодня капиталист находится дальше от сцены, а рабочие создают богатство более автономно. Капиталист накапливает богатство в первую очередь посредством ренты, а не прибыли: эта рента чаще всего принимает финансовую форму, и обеспечивают её финансовые инструменты. Тут-то и появляется долг как оружие, при помощи которого поддерживаются и контролируются отношения производства и эксплуатации. Эксплуатация сегодня основывается в первую очередь не на (равном или неравном) обмене, а на долге, то есть на том, что 99 процентов населения подчинено — задолжало работу, деньги или повиновение — 1 проценту.

Задолженность скрадывает производительность работников, зато высвечивает их подчинение. Эксплуатируемый труд преподносится в свете мистифицированных отношений — режима заработной платы, — но его производительность чётко измеряется рабочим временем. Теперь же, напротив, производительность становится все большей тайной по мере того, как черта, отделяющая рабочее время от времени жизни, все больше размывается. Чтобы выжить, задолжавший(ая) должен/должна продать время своей жизни целиком. Таким образом, должники этого типа даже самим себе кажутся прежде всего потребителями, а не производителями. Да, конечно, они производят, но они работают, чтобы выплатить свои долги, за которые они ответственны, потому что они потребляют. Следовательно, в противовес мифу о равном обмене отношения должника и кредитора обладают тем достоинством, что разоблачают колоссальное неравенство, лежащее в основе капиталистического общества.

Повторим ещё раз: прослеживаемое нами движение от эксплуатации к задолженности соответствует преобразованию капиталистического производства из порядка, основанного на гегемонии прибыли (то есть на получении средней нормы прибавочной стоимости от эксплуатации в производстве), в такой, где господствует рента (то есть получение прибавочной стоимости от эксплуатации общественного развития) и тем самым накопление стоимости, производимой обществом во все более абстрактной форме. Таким образом, производство при этом переходе все больше и больше полагается на обобществлённые, а не индивидуальные фигуры труда, то есть на работников, чья непосредственная кооперация друг с другом предшествует муштре и контролю со стороны капиталиста. В момент производства богатства рантье находится далеко и, следовательно, не видит жестокой реальности эксплуатации, насилия производительного труда и страданий, которые он вызывает при производстве ренты. С Уолл-стрит не видно страданий каждого работника, занятого в производстве стоимости, поскольку эта стоимость, как правило, основывается на эксплуатации бесчисленного множества оплачиваемых и неоплачиваемых. При финансовом контроле над жизнью все это становится неразличимым.

Возникает новая фигура бедняка, включающая не только безработных и тех, кто перебивается случайной и неполной работой, но и рабочих со стабильным заработком и обедневшие слои так называемого среднего класса. Главная отличительная черта таких бедняков — цепи долга. Все большее распространение долга в нынешних условиях указывает на возврат к отношениям кабалы, напоминающим о другой эпохе. И все-таки многое изменилось.

Маркс сардонически охарактеризовал улучшившееся положение появившихся в индустриальную эпоху пролетариев как *Vogelfrei*: они свободны как птицы в смысле двойной свободы от собственности. Пролетарии не являются собственностью господ и тем самым свободны от средневековой кабалы (это положительный момент), но они свободны ещё и от собственности в том смысле, что у них её нет. Сегодняшние новые бедные по-прежнему свободны во втором смысле, но их долги снова сделали их собственностью господ, которые правят теперь посредством финансов. Вернулись к жизни фигуры долгового работника и крепостного. В прежние времена иммигрантам и коренному населению в Америке и Австралии приходилось работать, чтобы выкупить себя из долговой неволи, но зачастую их долг продолжал расти, обрекая их на вечную кабалу. Неспособный вырваться из нищеты, до которой его низвели, задолжавший скован невидимыми цепями, которые надо обнаружить, схватить и разорвать, чтобы стать свободным.

### *Медиазависимый*

В прежние эпохи часто казалось, что в информационном отношении политическое действие сковывалось тем, что у людей не было должного доступа к информации или средств

для того, чтобы вступать в коммуникацию и выражать собственные взгляды. Действительно, сегодня репрессивные правительства стараются ограничить доступ к вебсайтам, закрывают блоги и страницы на Фейсбуке, устраивают нападения на журналистов и в целом перекрывают доступ к информации. Несомненно, противостояние таким репрессиям — важная борьба, и мы неоднократно видели, как информационные сети и каналы доступа к ним в конечном счёте неизбежно преодолевают все подобные барьеры, расстраивая попытки заблокировать и заставить замолчать.

Нас, однако, беспокоит то, как сегодняшние медиазависимые субъекты страдают от противоположной проблемы, подавляемые переизбытком информации, коммуникации и самовыражения. «Проблема больше не в том, чтобы люди себя выразили, — объясняет Жиль Делёз, — а в том, чтобы обеспечить маленькие промежутки уединения и тишины, в которых они могли бы в конце концов найти что сказать. Репрессивные силы не пресекают самовыражение людей, а скорее заставляют их себя выражать. Это такое счастье, когда вам нечего сказать, право ничего не говорить, ведь только тогда есть шанс произнести нечто редкое — и все более редкое, — то, что стоит того, чтобы это высказать». Но вообще-то проблема переизбытка не гомологична проблеме недостатка, и дело даже не в количестве. Делёз, похоже, напоминает здесь о парадоксе, выдвинутом на первый план Этьеном де ла Боэси и Барухом Спинозой: иногда люди борются за свою кабалу так, словно в ней их спасение. Может ли так быть, что, по собственной воле вступая в коммуникацию и занимаясь самовыражением, ведя блоги, просматривая страницы в Интернете и сидя в социальных сетях, люди укрепляют репрессивные силы, а не противостоят им? Зачастую, говорит Делёз, вместо информации и коммуникации мы нуждаемся в тишине, необходимой для мысли. Это не такой уж и парадокс. Для Делёза цель не в молчании как таковом, а в том, чтобы нам было что сказать. Другими словами, в вопросах политического действия и освобождения на карту поставлено в первую очередь не количество информации, коммуникации и самовыражения, а скорее их качество.

Значение информации и коммуникации для репрессивных структур (или для проектов освобождения) усиливается тем, что трудовые практики и экономическое производство все больше зависят от медиа. Технологии распространения информации и обмена ею становятся все более важными во всех типах производственных практик и имеют ключевое значение для тех видов кооперации, которые необходимы для нынешнего биополитического производства. Кроме того, многих рабочих, особенно в ведущих странах, средства связи и социальные сети, похоже, одновременно освобождают и приковывают к их работе. С вашим смартфоном и беспроводной связью вы можете отправиться куда угодно и по-прежнему быть на рабочем месте, что, как вы быстро понимаете, означает, что, где бы вы ни находились, вы все равно работаете! Зависимость от медиа — главный из факторов, все больше размывающих границы между работой и жизнью.

Поэтому таких рабочих, видимо, уместнее рассматривать не как отчуждённых, а как медиазависимых. В то время как сознание отчуждённого рабочего отделено или разделено, сознание медиазависимого подчинено или поглощено сетью. Сознание медиазависимого, по сути дела, не расщеплено, а фрагментировано и рассеяно. К тому же медиа на самом деле не делают вас пассивным. В действительности они постоянно призывают вас принять участие, выбрать, что вам нравится, поделиться своим мнением, рассказать о своей жизни. Медиа постоянно откликаются на то, что вам нравится и не нравится, а вы, в свою очередь, постоянно внимаете. Таким образом, медиазависимый — это субъективность, которая парадоксальным образом не активна и не пассивна, а скорее постоянно погружена во внимание.

Как отделить репрессивные возможности медиа от их освободительного потенциала? Можно ли установить качественные различия между разными типами информации и коммуникации? Возможно, если мы взглянем на то, какую роль информация и коммуникация игра-

ли на предприятиях на более раннем этапе производства, это нам кое-что подскажет. В начале 1960-х годов Романо Алькуати изучал виды информации, производимой рабочими на заводе «Оливетти» в Иврее (Италия), и обнаружил, что рабочие производят «информацию, создающую стоимость», тогда как управленческая бюрократия производит информацию контроля. Маттео Пасквинелли переосмысливает находку Алькуати как различие между живой и мёртвой информацией, аналогичное марксовскому понятию о живом и мёртвом труде: «*Живая информация* непрерывно производится рабочими, чтобы преобразоваться в мёртвую *информацию* и кристаллизоваться в виде машин и всего бюрократического аппарата». Таким образом, на заводе имеются по меньшей мере две системы коммуникации. В то время как мёртвый язык управления и машин кодифицирует и усиливает дисциплину и отношения подчинения, обмен живой информацией между рабочими может быть мобилизован в коллективном действии и неподчинении. Так же как фигура задолжавшего маскирует человеческую производительность, фигура медиазависимого скрывает лишенный своего потенциала человеческий интеллект. Или, лучше сказать, медиазависимый полон мёртвой информации, душащей нашу способность создавать живую информацию.

Маркс проводит сходное различие между типами информации и коммуникации на ещё более ранней стадии, когда заявляет, что французское крестьянство середины XIX века не способно действовать как класс. Он утверждает, что, поскольку крестьяне рассеяны по сельской местности и не могут эффективно друг с другом коммуницировать, они не способны на коллективное политическое действие и, по его знаменитому выражению, не могут себя представлять. Эталон, которым Маркс мерит здесь сельскую крестьянскую жизнь, — это жизнь городских пролетариев, которые общаются друг с другом и тем самым могут действовать политически и представлять себя как класс. Было бы, однако, ошибкой мыслить информацию и коммуникацию, которых в глазах Маркса недостаёт крестьянам, попросту количественно. Он не говорит, что крестьяне не поддержали бы Луи Бонапарта и отринули бы имперские мечты, если бы читали все газеты и знали о его политических интригах, его разорительных войнах и игорных долгах. Самое важное общение, которое есть у пролетариев и которого лишены крестьяне, осуществляется при физическом, телесном совместном пребывании на фабрике. Класс и основы для политического действия формируются в первую очередь не посредством циркуляции информации или даже идей, а скорее посредством конструирования политических аффектов, для чего требуется быть физически близко друг к другу.

Палаточные городки и оккупирующие акции 2011 года позволили заново открыть эту истину коммуникации. Фейсбук, Твиттер, Интернет и прочие виды коммуникационных механизмов полезны, но ничто не заменит совместное бытие тел и телесное общение, то есть основу коллективного политического разума и действия. Участники всех оккупирующих акций на территории США и по всему миру — от Рио-де-Жанейро до Любляны, от Оукленда до Амстердама, — даже там, где акции продлились совсем недолго, познали свою способность создавать новые политические аффекты путём пребывания вместе. Возможно, в этой связи имеет значение, что призыв оккупировать Уолл-стрит, появившийся в журнале «Adbusters» летом 2011 года, был облечён в художественную форму и был воспринят в числе прочих коллективами художников Нью-Йорка. Оккупация была своего рода хэппенингом, перформансом, порождающим политические аффекты.

Средние классы и традиционные левые тоже осознают, до какой степени мы интегрированы в медийные системы и насколько беднее это нас делает, но все, чем они могут на это ответить, это смесь ностальгии и старомодного левого морализаторства. Они знают, что, по мере того как информационные технологии проникают все глубже в наши жизни, начиная с печати и теле- и радиовещания и заканчивая электронными технологиями, они создают все более поверхностные формы опыта. Медленное составление персонального письма для от-

правки по почте почти полностью вытеснилось быстрым написанием кратких электронных сообщений. Сложные рассказы о вашей жизненной ситуации, чаяньях и желаниях низвелись до типичных вопросов в социальных сетях: ты сейчас где? что делаешь? Обычай и практики дружбы выхолостились в онлайнную процедуру «зафренживания». Возможно, необычайно широкая поддержка оккупирующих акций отчасти объясняется тем, что средние классы и традиционные левые осознают, что эти движения борются с проблемами, от которых страдают и они, но которые сами они решить не в состоянии.

### *Поднадзорный*

Становится не по себе, когда задумываешься о всей той информации, которую о тебе непрерывно собирают. Разумеется, вам известно, что в определённых местах и ситуациях наблюдение усилено. Пройдите через охрану аэропорта, и ваше тело и вещи просканируют. При въезде в определённые страны у вас возьмут отпечатки пальцев и отсканируют сетчатку. Станьте безработным, встаньте на трудовое пособие, и вас подвергнут другим проверкам, фиксирующим ваше усердие, ваши намерения и успехи. Клиники, государственные учреждения, школы — все они проводят собственные проверки и имеют собственные системы хранения данных. Так бывает, не только когда вы отправляетесь в какое-то особенное место. Прогулка по улице, скорее всего, будет записана несколькими камерами видеонаблюдения, ваши покупки по кредитной карте наверняка будут отслежены, а ваши звонки по мобильному телефону легко перехватить. В последние годы технологии слежения совершили скачок и проникли глубже в общество, в наши жизни и наши тела.

Вас устраивает, что с вами обращаются как с заключённым? В прежние времена тюрьма, отделённая от общества, была учреждением тотального надзора, заключённые были под постоянным присмотром, а вся их деятельность фиксировалась, но сегодня тотальный надзор все больше становится состоянием общества в целом. «Тюрьма, — замечает Мишель Фуко, — начинается далеко за тюремными дверями. Она начинается, как только вы выходите из дома» — и даже раньше. Вы миритесь с этим, потому что не знаете, что за вами наблюдают? Или потому что считаете, что у вас нет выбора? Возможно, и то и другое отчасти верно, но главное здесь другое — страх. Вы миритесь с тем, что живете в тюремном обществе, потому что вам кажется, что за его стенами опаснее.

Вы не только объект, но и субъект мер безопасности. Вы откликаетесь на призыв быть бдительным, непрерывно отслеживать подозрительную активность в подземке, коварные планы того, кто летит в соседнем кресле самолёта, преступные умыслы ваших соседей. Страх оправдывает то, что вы делаете ваши глаза и ваше бдение добровольными помощниками с виду универсальной машины слежения.

В поднадзорном обществе есть два типа действующих лиц: заключённые и охранники. И вас призывают играть обе эти роли одновременно.

Поднадзорный — это создание, которое живёт и горя не знает при чрезвычайном положении, где нормальное функционирование правопорядка и сложившиеся обычаи и формы межчеловеческих связей приостановлены всеобъемлющей властью. Чрезвычайное положение — это состояние войны; в наши дни в некоторых частях мира эта война вялотекущая, а в других она протекает весьма интенсивно, но прекращением войны нигде и не пахнет. Не стоит принимать это чрезвычайное положение за какое-то естественное состояние человеческого общества и не надо воображать, будто оно есть сущность современного государства или конечная точка, к которой тяготеют все современные фигуры власти. Нет, чрезвычайное положение — это форма тирании, которая, как и все тирании, существует лишь потому, что мы добровольно ей покоряемся.

Утверждение, что мы — объекты и субъекты надзора, подобно заключённым и охранникам в тюремном обществе, не означает, что все мы находимся в одном и том же положении или что больше нет разницы, быть в тюрьме или на свободе. В действительности за последние десятилетия число тюремных заключённых во всем мире колоссально выросло, особенно если учитывать не только обычные тюрьмы, но и меры судебного надзора, карантинные центры, лагеря для беженцев и несметное число прочих форм заключения.

Это скандал — или, вернее, это *должно* стать скандалом, и удивительно, почему же этого не происходит, — что в США численность тюремных заключённых, достигнув послевоенного минимума в начале 1970-х годов, с тех пор выросла более чем на 500%. США отправляют за решётку больший процент своего населения, чем любая другая страна в мире. Даже при всем сверхплановом строительстве тюрем в последние десятилетия камеры по-прежнему переполнены. Этот невероятный прирост нельзя объяснить ростом преступности среди американского населения или тем, что правоохранительные органы стали лучше работать. В действительности уровень преступности в США за этот период изменился незначительно.

Скандалное расширение тюремной системы становится ещё драматичнее, если посмотреть, как рост количества тюрем затрагивает различные расы. Латиноамериканцев лишают свободы почти вдвое чаще, чем белых, а афроамериканцев — почти вшестеро чаще. ещё сильнее расовые диспропорции среди ожидающих смертной казни. Нетрудно найти шокирующую статистику. Например, в любой день каждый восьмой темнокожий американец мужского пола в возрасте 20–29 лет находится в тюрьме или под арестом. Мишель Александер отмечает, что в наши дни афроамериканцев, чья свобода так или иначе ограничена, больше, чем рабов в середине XIX века. Некоторые авторы пишут о расовом перекосе среди растущего числа заключённых как о возврате к отдельным элементам плантационной системы или как о новой версии законов Джима Кроу<sup>2</sup>. Имейте в виду, что этот расовый перекося среди тюремных узников вовсе не уникален для Соединённых Штатов. В Европе и не только те, чья кожа темнее, бывают задержаны непропорционально чаще (если считать центры задержания иммигрантов и лагеря для беженцев ветвями тюремной системы).

Таким образом, поднадзорный не является однородной фигурой. В действительности бесчисленное многообразие степеней лишения свободы имеет ключевое значение для функционирования данной субъективности. Всегда есть те, кто находится ниже вас, пусть и на самую малость — под ещё большим надзором и контролем.

В те же годы, когда росло число тюрем и заключённых, американское общество становилось все более милитаристским. Особенно примечательно не увеличение числа солдат в Соединённых Штатах, а скорее их положение в обществе. Не так уж давно, в последние годы войны во Вьетнаме, ходили слухи, что протестующие оплёвывают возвращающихся солдат и называют их убийцами детей. Вероятно, это был миф, распространяемый, чтобы дискредитировать протестующих, но он свидетельствует, что в то время солдаты и их общественные функции мало ценились. Примечательно, что всего несколько десятилетий спустя военнослужащие стали (снова) пользоваться всенародным уважением. Военным в форме даётся приоритет при посадке на самолёты коммерческих авиалиний, и не так уж редко незнакомые люди останавливаются, чтобы поблагодарить их за их службу. В Соединённых Штатах возросшее почтение к военному в форме совпадает с растущей милитаризацией общества в целом. И все это несмотря на многократные разоблачения незаконности и аморальности армейских тюрем от Гуантанамо до Абу-Грейба, чьи систематические практики если и не доходят до пыток, то граничат с ними.

---

<sup>2</sup> Законы Джима Кроу — неофициальное название законов о расовой сегрегации в южных штатах США в период 1890–1964 годов. — *Прим. пер.*

Увеличение числа тюремных заключённых и растущая милитаризация — по обеим этим позициям американское общество лидирует — это только наиболее конкретные, отчётливые проявления расплывчатого режима безопасности, при котором все мы задержаны и завербованы. Почему эти тенденции имеют место сейчас? Один из феноменов, исторически совпадающих с возникновением режима безопасности в его различных формах, — это господство неолиберальных стратегий капиталистической экономики. Требуемый неолиберальной экономикой прекаритет, все большая гибкость и мобильность рабочих характеризуют новую фазу первоначального накопления, когда возникают разнообразные слои, связанные с перенаселением. Безработные и частично безработные бедняки, если предоставить их самим себе, могут образовать классы, опасные с точки зрения сил правопорядка.

Все присущие режиму безопасности формы вербовки и лишения свободы в действительности играют роль, которую Маркс приписывает «кровоавому законодательству» докапиталистической Англии, направленному на неимущие и бродяжнические классы. Это законодательство не только принуждало бывших сельских жителей согласиться на сидячую работу в городах, но и так их выпестовало, что будущие пролетарии согласились на наёмный труд, словно это было их собственным желанием и их судьбой. И точно так же наше соучастие в делах общества безопасности работает как своего рода дрессура или *муштровка* наших желаний и надежд, но главное — наших страхов. Тюрьма функционирует отчасти как товарный склад для избыточного населения, но ещё и как жупел для населения «свободного».

Кроме того, текущий экономический и финансовый кризис добавляет целый набор других страхов. И во многих случаях один из самых больших страхов — это страх не иметь работы и тем самым возможности выжить. Вы должны быть хорошим работником, быть верным своему работодателю и не участвовать в забастовках, иначе вы окажетесь без работы и не сможете выплачивать свои долги.

Страх — это главное, что побуждает поднадзорного принять не только свою двойную роль при режиме слежения (наблюдателя и наблюдаемого), но и тот факт, что столь многим другим оставлено ещё меньше свободы. Поднадзорный живёт в страхе перед наказанием и внешними угрозами одновременно. Страх перед господствующей властью и полицией тоже вносит свой вклад, но более важен и более действенен страх перед опасными другими и неизвестными угрозами — обобщенный социальный страх. В каком-то смысле у тех, кто в тюрьме, меньше поводов для страха; точнее говоря, нависающие над ними угрозы со стороны тюремной машины, охранников и других заключённых хотя и страшны, но относительно ограничены и опознаваемы. При режиме же безопасности страх — это пустое означающее, в котором могут появиться все виды ужасающих фантомов.

Томас Джефферсон в отнюдь не самый отважный и славный для себя момент из страха оправдал не только компромисс, коим было дозволение рабства в новом штате Миссури, но и сохранение рабства в Соединённых Штатах. «Мы в безвыходном положении, — писал он, — поймав зверя, не можем ни удержать его, ни без риска для себя отпустить. На одной чаше весов справедливость, а на другой — самосохранение». Поскольку, терпя несправедливость на протяжении поколений, чёрные рабы, рассуждает Джефферсон, до мозга костей пропитались праведным гневом, который, если дать ему волю, уничтожит белое общество, рабство при всей его несправедливости необходимо сохранить, чтобы держать зверя на привязи. Нынешнее поднадзорное общество функционирует по той же низменной логике, но теперь звери уже спущены с цепи и прячутся в тени, создавая вечную угрозу. Всякую несправедливость можно оправдать призрачными видениями обобщённого страха.

### *Представляемый*

Нам постоянно говорят, что мы находимся посреди длинной исторической траектории, ведущей от разнообразных форм тирании к демократии. Пусть даже кое-где людей угнетают тоталитарные или деспотические режимы, представительные формы правления, претендующие на то, что они являются одновременно демократическими и капиталистическими, распространяются все больше. Всеобщее право голоса ценится и применяется на практике — хотя и с разной степенью эффективности — по всему миру. Всемирный капиталистический рынок, говорят нам, всегда способствует распространению модели парламентского представительства как инструмента включения населения в политику. И тем не менее среди движений 2011 года много таких, участники которых отказываются, чтобы их представляли, и подвергают самой серьёзной критике структуры представительного правления. Как смеют они осыпать бранью драгоценный дар представительства, завещанный им Новым временем? Они что, хотят назад в тёмные времена непредставительного правления и тирании? Конечно, нет. Чтобы понять их критику, мы должны осознать, что представительство — это на самом деле не механизм демократии, а наоборот, препятствие для её осуществления, и мы должны увидеть, как в фигуре *представляемого* соединяются фигуры задолжавшего, медиазависимого и поднадзорного и одновременно выражается конечный результат их подчинения и разложения.

Власть финансов и богатства, прежде всего, отнимает у людей возможность объединяться и создавать организации, которым были бы по карману все более дорогие предвыборные кампании. Только если вы богаты, очень богаты, вы можете вступить в соревнование за свой счёт. В противном случае, чтобы достичь той же цели, необходимо подкупать и быть подкупленным. Попав в правительство, избранные представители продолжают самообогащаться. Во-вторых, разве можно в политике сконструировать какие-то истины, не контролируя влиятельные СМИ? Лобби и капиталистические кампании по финансированию чрезвычайно эффективны, когда надо привести к власти правящие нами политические касты. Символическое сверхопределение господствующих СМИ всегда сдерживает — и часто блокирует — общественное продвижение тех, кто борется независимо, народных союзов и диалектике движений и правительств. Короче, ведущие СМИ создают препятствия для любой вновь возникшей формы демократического участия. В-третьих, страх, испытываемый поднадзорным, производится с помощью практикуемой ведущими СМИ коварной и зловещей тактики запугивания. Достаточно посмотреть вечерние новости, чтобы побояться выходить из дома: репортажи о детях, похищаемых между продуктовыми рядами, о подготавливаемых террористами взрывах, об убийцах-психопатах в окрестных кварталах и тому подобное. Общение, естественное для отношений в обществе, превращается в боязливую изоляцию. Homo homini lupus est: человек человеку волк — и притом опасный. Первородный грех вечно остаётся в настоящем, а фанатизм и насилие порождают, часто за вознаграждение, козлов отпущения, погромы меньшинств и облавы на альтернативные идеи. С помощью процесса представления политика вываливает этот мир отбросов на представляемых.

В современном буржуазном обществе XX века у граждан, а также у эксплуатируемых и отчуждённых (включая муштруемый рабочий класс) ещё оставались кое-какие возможности для политического действия посредством (зачастую корпоративистских) институтов государства и гражданского общества. Участие в профсоюзах, политических партиях и в целом в объединениях гражданского общества создавало кое-какое пространство для политической жизни. У многих людей тоска по этим временам сильна, но нередко основана на лицемерной преданности. Какое быстрое угасание и отмирание того гражданского общества мы наблюдали! Сегодня структуры участия невидимы (зачастую они криминальны или, как мы упомина-

ли, попросту контролируемы лобби), а представляемый действует в обществе, лишённом интеллекта и манипулируемом оглушительно тупыми медийными клоунами, переживая непрозрачность информации как отсутствие достоинства и замечая лишь циничную неприкрытость власти богатых, тем более непристойную, что ей сопутствует безответственность.

Представляемый осознает крах структур представительства, но не видит альтернативы, и его вновь охватывает страх. На этом страхе возрастают популистские или харизматические виды политики, уже даже не притворяющейся представительной. Отмирание гражданского общества с его обширной сетью институтов было частично результатом того, что в обществе снизилась социальная роль рабочего класса, его организаций и союзов. Другой причиной были обманутые надежды на преобразования или, вообще говоря, самоубийство предпринимательской способности, разжиженной гегемонией финансового капитала и исключительной важностью ренты как механизма социального сплочения. Социальная мобильность в этих обществах становится, особенно для тех, кого в прошлом называли буржуазией (тогда это был средний класс, а теперь, в кризис, он часто смешивается со слоями пролетариата), погружением в тёмную, бездонную дыру. Страх правит. В итоге приходят харизматические лидеры, чтобы защитить эти классы, и популистские организации, чтобы убедить их, что у них есть идентичность, но это всего лишь принадлежность к той или иной социальной группе, которая уже не имеет внутренней сплочённости.

Но даже если бы все функционировало как надо и политическое представительство отличалось бы прозрачностью и совершенством, представительство как таковое по определению есть механизм, отделяющий население от власти, повелеваемых от тех, кто повелевает. Когда разрабатывались республиканские конституции XVIII века и представительство было поставлено в центр нарождающегося политического порядка (как суверенный субъект *par excellence*), уже было ясно, что политическое представительство не работает посредством действенного участия населения, даже тех белых субъектов мужского пола, которые обозначались словом «народ». Скорее, оно было задумано как «относительная» демократия — в том смысле, что представительство позволяло подключить людей к властным структурам и отделить от них одновременно.

Жан-Жак Руссо создаёт теорию общественного договора (и, стало быть, основ современной демократии) следующим образом: надо изобрести политическую систему, способную обеспечить демократию в ситуации, когда частная собственность порождает неравенство и тем самым подвергает свободу опасности, систему, способную построить государство, защитить частную собственность и определить государственную собственность как нечто такое, что, принадлежа всем, не принадлежит никому. Представительство, таким образом, будет на службе у всех, но, представляя всех, будет ничьим. Для Руссо представительство порождается (метафизическим) переходом от «воли всех», образующей общество, к «общей воле», то есть к воле тех, кого предварительно отобрали все, но кто ни перед кем не отвечает. Как выражается Карл Шмитт, представлять означает делать присутствующим отсутствие, или, по сути, никого. Вывод Шмитта идеально согласуется с предпосылками Руссо, которые, в свою очередь, находят выражение в Конституции США и в конституциях Французской революции. Парадокс представительства завершён. Удивительно только, что оно смогло функционировать так долго и что в силу его бессодержательности ему это удалось лишь благодаря поддержавшей его воле сильных мира сего, обладателей богатства, производителей информации, а также стряпчих страха — проповедников суеверий и насилия.

Сегодня, однако, даже если бы мы верили в нововременной миф о представительстве и приемлили его в качестве орудия демократии, тот политический контекст, который делает его возможным, существенно сузился. Поскольку системы представительства создавались главным образом на уровне национальных государств, возникновение глобальной структуры вла-

сти резко подрывает их. Возникающие международные институты не особо делают вид, будто представляют волю различных народов. Политические соглашения достигаются, а деловые контракты подписываются и гарантируются в рамках структур глобального правления помимо каких-либо представительных органов национального уровня. Независимо от того, существуют ли «конституции без государств», очевидно, что функция представительства, которая таинственным образом будто бы ставила у власти народ, уже не действует в этом глобальном пространстве.

А что же представляемый? Что остаётся от качеств этой фигуры как гражданина в этом глобальном контексте? Больше не принимая активного участия в политической жизни, представляемый обнаруживает себя бедняком среди бедняков, сражающимся в джунглях этой социальной жизни в одиночку. Если он не пробудит свое жизненное чувство и не вернёт себе вкус к демократии, то он станет чистым продуктом власти, пустой оболочкой механизма управления, который больше не нуждается в гражданине-рабочем. Таким образом, представляемый, как и другие фигуры, есть продукт мистификации. Так же как задолжавшему отказано в контроле над его производительной социальной способностью; так же как интеллект, аффективная способность и способность к языковым изобретениям медиазависимого больше не принадлежат ему; и так же как поднадзорный, живя в мире, сведённом к страху и ужасу, лишён всякой возможности сближающего, справедливого и любящего социального обмена, так и представляемые потеряли доступ к результативному политическому действию.

Таким образом, члены столь многих движений 2011 года потому направляют свою критику против политических структур и форм представительства, что ясно понимают, что представительство, даже когда оно эффективно, скорее препятствует демократии, чем способствует ей. Куда, спрашивают они, делся проект демократии? Как можно снова его задействовать? Что значит вернуть назад (а по сути, воплотить в жизнь впервые) политическую власть гражданина-рабочего? Один из путей, учат нас движения, лежит через восстания и бунты против обедневших и лишённых своего потенциала фигур субъективности, кратко описанных нами в этой главе. Демократия будет воплощена в жизнь только тогда, когда возникнет субъект, способный схватить её и привести в действие.

© Даниил Аронсон, перевод с английского